

Свенцицкая Э. М.

г. Киев, Украина

СВОЕОБРАЗИЕ СУБЪЕКТНОГО НЕОСИНКРЕТИЗМА В ЛИРИКЕ И. Ф. АННЕНСКОГО

В данной статье выяснена специфика субъектного неосинкретизма в лирике И. Ф. Анненского. На основе анализа статуса субъекта в ряде произведений поэта выявлен созерцательный скепсис, поэт сомневается и в возможности родства с миром, и в реальности узнавания. Делается вывод о том, что в поэзии И. Ф. Анненского переживается проблематичность универсального посредничества: пластика соединения, сопряжения оборачивается развоплощением, утратой своей «индивидуальной единственности» (М. М. Бахтин).

Ключевые слова: субъект, субъектная организация, бытие, личностность.

Общеизвестно, что субъектный неосинкретизм – феномен неклассического этапа поэтики художественной модальности. С.Н. Бройтман отмечает, что на рубеже XIX–XX веков субъектная организация литературного произведения

серьезно изменяется: происходит «возрождение в поэтике модальности архаического субъектного синкретизма на основе обыгрывания нераздельности-неслиянности категорий «я» и «другого» [1:143]. И, как пишет он в другой работе, «наряду с традиционными появляются такие субъектные целостности, в которых исходным является не аналитическое расчленение «я» и «другого», а их изначально нерасчленимая intersubъектная природа» [2: 257].

Собственно, неосинкретизм отличается от первобытного синкретизма прежде всего осознанностью: один из постоянных лейтмотивов философской мысли данного периода – необходимость синтеза. Интенция целостности и целокупности возникает в качестве преодоления расчлененности реальности. Одновременно осознается сущностная переходность личности и мира, подвижность границ между «я» и «не-я». Именно отсюда – диалогическое сознание, причастность к «другому» как преодоление и атомарности индивида, и мифологической нерасчлененности личности и массы.

Цель данной работы – выяснить специфику субъектного неосинкретизма в лирике И. Ф. Анненского. При этом субъектная архитектура, особенно в ситуации кризиса личности, которая стала отправной точкой творчества И. Ф. Анненского, – это путь к осмыслению фило-

софии личности, причем не декларируемой, а непосредственно выраженной в глубинной структуре текста.

Подозревать, что такая специфика существует, нас заставляет тот безусловный факт, что творчество И.Ф. Анненского – и поэтическое, и критическое – представляет собой переходное явление во многих отношениях. Прежде всего – это своеобразное пограничье между классическим XIX веком, когда литература, «отталкиваясь от автономного «я», приблизилась к его границе – к самосознанию» [3: 253], и XX веком, для художественного сознания которого единство «я» и «другого» уже данность. И то, что с большого временного расстояний выглядит как закономерное движение, при более пристальном взгляде может быть чревато не только различными отклонениями, но и уникальными промежуточными синтезами. В этом плане сосредоточение внимания на поэзии И. Ф. Анненского означает осмысление самого процесса перехода, рассмотрение того, что происходит на границе.

Следует отметить, что относительно статуса субъекта в поэзии И. Ф. Анненского в истории литературы возникали совершенно противоположные представления. В целом ряде исследований говорится о принципиальной изолированности, автономности личности, ее декадентской самососредоточенности. Данная тенденция утвердилась, кроме всего прочего, потому, что освещена авторитетом М. М. Бахтина. В работе «Автор и герой в эстетической деятельности» поэзия И. Ф. Анненского рассматривается в ряду проявлений кризиса авторского сознания, разру-

шения внутреннего равновесия «я» и «другого»: «Это как бы *срывы голоса*, почувствовавшего себя *вне хора*... Индивидуализм может положительно определять себя и не стыдиться своей определенности только в атмосфере доверия, любви и возможной хоровой поддержки. Индивидуума нет вне дружности... у нас особенно Случевский и Анненский – *голоса вне хора*»; «Жизнь становится понятной и событийно весомой только изнутри, только там, где я переживаю ее как я, в форме отношения к себе самому» [4: 158, 186].

Далее Л. Я. Гинзбург в статье «Вещный мир» из книги «О лирике» говорит о сложных отношениях поэта и мира в лирике И. Ф. Анненского, и доминантой этих отношений становится своеобразное двойственность противостояния и жажды и его преодоления: «Не избранная личность перед низкой повседневностью, не человек, брошенный в безусловно враждебный ему страшный мир, но человек, тянущийся к миру, который ему не дается. Анненский всего сильнее и самобытней, когда его лирика – разговор об отношениях лирической личности с внешним миром, враждебным и крепко с ней сцепленным, мучительным и прекрасным в своих вещных проявлениях» [5: 297].

Менее гибко и диалектично выглядит решение данной проблемы у Ю. М. Лотмана и З. Г. Минц: «Лирический герой поэзии Анненского болезненно переживает свое одиночество и беспомощность в окружающем его враждебном и непонятном мире... Множество стихотворений Анненского посвящено зыбкости мира, его ненадежности, невозможности контакта с другими, обреченности» [6: 29]. В том же русле движется исследовательская мысль еще в целом ряде работ: так, в работе К. Верхейл говорится о «драме, совершающейся в замкнутом мире несчастного субъекта» [7: 30], в статье Л. Корецкой – о том, что у Анненского «порыв к «другому» почти всегда обречен» [8: 65], а в монографии Л. Кихней и Н. Ткачевой – об объединяющем личность и предметный мир «тотальном одиночестве» [9: 73]. То есть, положение субъекта в данном случае осмысливается в диапазоне от полного отторжения до попыток выйти за пределы собственного «я», которые только усугубляют одиночество.

С другой стороны, ряд ученых приходит к выводу о том, что И. Ф. Анненский в трактовке личности выходит за пределы декадентской изолированности, что личность, несмотря на свою глубинную отъединенность, движется навстречу жизненной реальности. Так, в работе И. А. Коло-

баевой читаем: «Единое, самодержавное «Я» в поэзии Анненского расшатывается силой иронии. В том, что Анненский колеблет трон абсолютного Я – истоки силы поэта, объяснение его выходов за пределы декаданса, его отступлений от канонов символистской школы – навстречу живой жизни» [10: 28]. О. Ронен, говоря о взаимоотношениях лирического героя и предметного мира, констатирует «эмоциональное и эстетическое значение его веры в иное и внешнее, в объект, будь то творец, вещь или другая душа, и в слово как единственный путь к этому инобытию» [11: 33].

Пожалуй, наиболее последовательно данная концепция высказана в диссертации Н.В. Налегач «И. Анненский и русская поэзия XX века». Здесь одной из ключевых творческих установок поэта названа «установка на слияние «я» и Другого через близость переживания и мироощущения» [12: 17]. Анализируя ряд символов поэзии И. Анненского, исследовательница приходит к выводу о диалогической соотнесенности «я» и «не-я» в творчестве поэта, то есть, по сути констатирует преодоление кризиса личности, кризиса слова, характерного для культурного сознания рубежа веков.

Следует отметить также работу В.В. Мусатова, в которой, по сути дела, два противоположных представления объединяются, но одновременно разводятся по разным жанровым началам и типам пафоса: «Он выступал как носитель одинокого индивидуального сознания Но он не был и типичным интеллигентом 80-90-х годов, ибо в лирике Анненского заявляло о себе творческое сознание, стремящееся к выходу из пространства индивидуальной лирической эмоции в сферу имперсонального переживания бытия, т. е. в сущности в сферу трагедии с ее катаргическим пафосом» [13: 477].

Нет сомнения, что поэзия И. Ф. Анненского отмечена напряженной личностью, именно вокруг личности в ее творческой определенности выстраивается круг эстетических и поэтологических воззрений. Поэтому, скажем попутно, и отношение И.Ф. Анненского-критика к писателю, о котором он говорит, – не субъектно-объектное, а субъектно-субъектное, его критические работы – реальность встречи и узнавания подлинно другого, здесь, буквально по М. М. Бахтину, – онтологическая взаимоукорененность, когда именно глубина проявленности «я» порождает необходимость в «другом».

В лирике все гораздо сложнее. Прежде всего, оборотной стороной любой самососредоточен-

ности на самом деле становится проблематизация собственных границ. То, что мир есть отражение – один из постулатов символистского мировосприятия. Безусловно, у И. Анненского эта черта доведена до упора, и, как мне уже приходилось писать, окружающий мир оказывается именно отраженным состоянием лирического субъекта, пронзенного мукой и мыслью о собственной конечности. Когда же он становится отражением человеческого бытия – «я» оказывается разлитым во всем окружающем. Например, в стихотворении «Когда б не смерть, а забытье...» читаем: «Иль я не с вами таю, дни, Не вяну с листьями на кленах? И не мои ль умрут огни В слезах кристаллов растопленных?». Тут сострадание выглядит совершенно буквально – как совместное страдание с реалиями пространства (именно поэтому «вся жизнь моя – не жизнь, а мука»). При этом нет ясности, что представляет собой это утверждение – причину или следствие, то ли мучается душа – и от этого ей весь мир представляется мучающимся, то ли действительно – исчезновение и увядание, «безумье скал» и «черное нищенство березы» представляют своеобразную жизнь, и душа поэта этой жизни страдает.

Скорее всего, страдание и сострадание усиливают друг друга по принципу резонанса, и из порождаемой этими состояниями муки нет исхода, поскольку нет субъекта и мира по отдельности, душа полностью растворена в природе и растворена в природу. В результате создается некий призрачный мир, в котором и всякая предметная данность утрачивает четкие очертания, и невозможно себе помыслить субъекта как нечто отдельное, индивидуальное. Однако нельзя сказать, что он становится посредником, медиумом. Об этом говорит концовка стихотворения: «А мне, скажите, в муках мысли Найдется ль сердце сострадать?». То есть, сам субъект оказывается лишенным того, что по праву принадлежит листьям, дождевикам и прочим «малым сим», он в этом страдальческом самоумалении остается наедине с собой, потому что ответа на вопрос нет.

С другой стороны, надо сказать, что это страдальческое самоумаление – по сути дела, обратная сторона бесконечного расширения пределов этого же субъекта, той «экзистенциализации пространства и времени», о которой пишет в своей диссертации И. Ю. Пирошенко [14: 80]. Действительно, на весь окружающий мир распространяются законы существования лирического субъекта, все «человеческие, слишком человеческие» законы (даже весна, время обновления природы, у

И. Анненского выглядит как смерть и разложение, как «черная весна» (ст. «Черная весна»). В этой логике субъект становится «зыбким и неуловимым», как говорит сам поэт в одной из критических работ, и при этом настолько масштабным, что вытесняет из реальности все, что не носит его отпечатка, становится некоей универсальной и неопределенной сущностью. Именно поэтому все данное стихотворение – по сути, ряд вопросов. Относительно данного субъекта, таким образом, невозможно утверждать что-либо окончательно.

Как говорит И.Ф. Анненский в письме к Е. М. Мухиной, «сомнение и есть превращение вещи в слово, – и в этом предел, но далеко не достигнутый еще нами, – желание стать выше самой цепкой реальности» [15: 481]. Здесь не просто скепсис как философская установка, он скорее представляется основой именно эстетической природы создаваемой реальности. Получается, вещь становится словом, когда утрачивает свои реальные очертания, когда она оказывается на грани существования и несуществования. Именно на интенции преодоления жизненной реальности, растворения ее весомости, все предметные данности утрачивает четкие очертания, и одновременно приобретают черты субъекта, а субъект, также утрачивая четкие очертания, оказывается неотделимым от воссоздаваемого мира.

Характерно, что следующее стихотворение, о котором надо сказать подробнее, также заканчивается вопросом – стихотворение «Листы». В судьбе падающих листьев, на первый взгляд, узнается судьба человеческой личности, и связь, на первый взгляд, тоже намечена четко – движение к концу, к смерти: «Кружатся нежные листы / И не хотят коснуться праха. / О неужели это ты, / Все то же наше чувство страха?». При более пристальном рассмотрении оказывается, что здесь нет тютчевского взаимопроникновения («Все во мне, и я во всем»), скорее общность лишь нащупывается, она под вопросом. Тут явный созерцательный скепсис, поэт сомневается и в возможности родства, и в реальности узнавания («О неужели это ты...»). И далее размываются и контуры человеческой личности («И нет конца, и нет начала / Тебе, тоскующее «я»?»). Но и это утверждение также оказывается условным, вернее, обусловленным тем, что «...над обманом бытия / Творца веленье не звучало». Получается, что если нет отдельности на «я» и «не-я», если «я» оказывается разлитым в природу и действительно может восприниматься как единое с падающими листьями, то Творца нет, а если Он

есть, то тогда нет единства природы и души, нет мира как такового. Человеческое «я» и внешняя реальность лишь сцеплены друг с другом, и сцепление это также выглядит более сложным: ведь движение к концу, к смерти не достигает своей цели, листы «не хотят коснуться праха». Это олицетворение не случайно: листья наделяются человеческой живой волей именно в тот момент, когда проясняется их обреченность на умирание. И далее совершенно естественно возникает переход к человеческой личности, которая тоже обречена на умирание и останавливается у последнего предела. Однако сказано об этом сложном сцеплении таким образом, что возникает равновесие между вопросом и утверждением: с одной стороны – олицетворение, демонстрирующее реальность этой связи, с другой стороны – вопросительный знак, переносящий эту связь в область слова. Таким образом, невозможно ни убедиться в существовании этого сцепления, ни разорвать его. И трагедийность ситуации все-таки не столько в «бесцельности сцепленности» (формулировка из статьи о Бальмонте, которая повторяется в целом ряде работ), а именно в том, что эта сцепленность, возможно, не существует, а между тем – с несомненностью влияет на душу.

Собственно, лирика И. Ф. Анненского выражает трагедийность этой самососредоточенности, той ситуации, когда жизнь субъекта становится средоточием всего мира. Ведь когда круг реальности замыкается на человеческом сердце, все то, что происходит в этой реальности, отражается в сердце. И в этой логике сомнение поэта в отношении действительности мира оказывается и в отношении собственной действительности. Тютчевское «все во мне, и я во всем» оборачивается в конце концов полным отсутствием чего-либо. В этом плане поэт не просто «амбивалентно уравнивает и автономизирует природную и человеческую жизнь», как пишет И. Ю. Пирошенко [14: 92]. Он создает их своеобразное взаимоперетекание, взаимооборотность, причем в наиболее трагедийных моментах.

В связи с этим совершенно закономерно, в лирике И. Ф. Анненского часто возникает картина смерти и особенно посмертия. Это, конечно, типично для рубежа веков. Поэт не просто говорит о смерти как о некоей абстрактной категории, напоминая людям, что они конечны. Все произведения, в которых, по видимости, поэт рассказывает о собственной смерти (не только И. Анненский, но и А. Белый, М. Цветаева и др.),

написаны таким образом и с такой установкой, как будто бы поэт, умирая, продолжает жить, и будет жить после смерти. Смерть в данном случае приобретает онтологический статус, поэт парадоксальным образом ее обживает, показывая, что в ней тоже можно существовать, что это своего рода инобытие. Единство бытия и личности таким образом восстанавливается, размыкаются пределы человеческого «я» – но это возможность просто посмотреть на себя извне, воспринять себя в другой плоскости.

Трагедийность этой ситуации отражена в стихотворении «Развившись, волос поседел...»: «За столько жить мой ум хотел, Что сам я жить забыл». Собственно, самое безысходное – в конце стихотворения «На поле белом меж крестов – Хоть там найду ли свой?». Получается, что жизнь, представляющая собой выход за собственные пределы, в жизнь других, все равно конечна, и смерть в данном случае выводит за пределы не только собственные, но и человеческого мира как такого, то есть не остается действительно ничего, человек оказывается чистой энергией.

Собственно, вот эта проблематичность универсального посредничества и переживается в поэзии И. Ф. Анненского: пластика соединения, сопряжения оборачивается развоплощением, утратой своей «индивидуальной единственности» (М. М. Бахтин). Тот, кто оказывается на границе, – не имеет возможности осознать границы свои собственные.

Это нахождение на границе отчетливо проявилось в стихотворении «Октябрьский миф». В «Исторической поэтике» С. Н. Бройтмана оно подробно разбирается в контексте характерного для поэтики художественной модальности взаимодействия внутри одного произведения различных образных языков (в данном случае – простого, метафорического и мифологического), в результате чего смысл целого становится неоднозначным и возникают те обертоны смысла, которые возможны только внутри художественного целого. В результате автор приходит к следующему выводу: «Октябрьский миф» – стихотворение и о другом человеке, и о дожде (природе), и о мире как живом существе, двойнике лирического «я». Эти смыслы у Анненского так же неотделимы друг от друга, как слезы «я» от капель дождя. Но они не единокельны, а единораздельны (поэт называл это «абсурдом цельности» и «реальностью совместительства»), и такая цельность создается благодаря тому, что мы называем поэтической модальностью» [3: 282].

Нам представляється ситуація с суб'єктом гораздо более сложной. Прежде всего, обратим внимание, что эта неотделимость «слез «я» от капель дождя» кажущаяся, нет тут и единораздельности (то есть, изначального внутреннего единства при внешней разделенности). Тем более, что и «абсурд цельности», и «реальность совместительства» в статье «Бальмонт-лирик» И. Анненским расшифровываются как «бессознательность жизней, кем-то помещенных бок о бок в одном призрачно-цельном “я”» [15: 109]. При этом связь данного пассажи со стихотворением вполне возможна, поскольку далее упоминается «невозможность удержать от провала». То есть, цельность «я» оказывается призрачным, иллюзорным в принципе.

В данном стихотворении нельзя не заметить пространственную дистанцированность «я» и «слепого», олицетворяющего собой, действительно, и страдающего «другого», и страдающий и оплакивающий себя мир: «Надо мною он всю ночь отступает о крышу». Это странное, как и в предыдущем стихотворении, гротескное положение – слепой на крыше – на самом деле остраивает саму возможность слитности (то есть, странно себе представить, что дождь и есть человек, вот так он и выглядит). Еще одно важно – тоска как своеобразный ракурс видения, как особый модус бытия (по сути, она такова и есть в творчестве И. Анненского): «Мне тоскливо. Мне невмочь. Я шаги слепого слышу»). И с одной стороны, естественно и эмоционально убедительно видеть воплощение своей тоски в дожде, барабанищем по крыше, а с другой – если дождь и есть человек, то вся картина абсурдна, что, конечно, усугубляет тоску.

Собственно, пространственная модель в этом стихотворении аналогична тому, что происходит в стихотворении «Осень» – «И разорвали в ночь свистящие буруны Меж небом и землей протянутые струны». То есть – слитность есть иллюзия, она представлена в стихотворении, пережита – и опровергнута. Здесь лирический субъект оказывается отделенным и от «другого», и от мира, как и в ряде предыдущих стихотворениях, – скепсисом. Опять-таки, единство «я» и «не-я» оказывается под вопросом: «И мои ль, не знаю, жгут Сердце слезы или это Те, которые бегут У слепого без ответа». Тут речь не о неразличимости слез «я» и слепого, а о том, может ли «я» узнать в этих слезах свою муку, скепсис здесь становится своеобразной перегородкой, отделяющей лирического субъекта и от «другого», и от мира, замыкающей его в себе самом. Это вопрошание – тоскливое

и угасающее к концу стихотворения – попытка принять эту ситуацию в себя, перенесение этого чаемого единства вовнутрь и осознание невозможности его осуществления. Мир здесь никак не может быть «двойником лирического “я”» [15: 282], поскольку реальное двойничество в мире Анненского – это совсем другое.

Рассмотрим в связи с этим стихотворение «Двойник». Опять-таки, данное стихотворение фигурирует у С.Н. Бройтмана как пример «такой субъектной целостности, «в которых исходным является не аналитическое различие «я» и «другого», а их изначально нерасчленимая intersubъектная природа» [15:257]. Однако и этот тезис нуждается в некотором уточнении. С одной стороны, действительно, когда поэт говорит «и то же, что я, и не то же», «бой сердца и мой, и не мой» – эта нерасчленимость кажется вполне реальной. Но с другой стороны – все стихотворение все-таки полностью сосредоточено на исходном «я», и все качества «другого» тоже постоянно с ним соотносятся: «И то же, что я, и не т о же»; «Но чем я глядел неустанней, тем ярче себя ж узнавал». Кроме того, и «я», и «другой» в стихотворении сами по себе нереальны, они представляются сплошной текучестью и одновременно тайной – «Когда наконец нас разлучат, Каким же я буду один?». Что же более всего противится этому представлению о целостности – так это трагический характер всего стихотворения, ощущение этой нетождественности «я» самому себе как неумолимо возвращающейся «в мутном круженье годин» боли. По сути дела, перед нами не целостность и не расколотость, эта боль – ощущение человека, который буквально в процессе развертывания этого теста, переходит в иной бытийный статус – между существованием и несуществованием, сплошной соединительной тканью между «я» и «другим». Поэтому множественность оказывается внутри единого творческого «я», личность раскалывается, оставаясь единой, но при этом осознавая именно свою расколотость и переживая ее как собственное уничтожение.

Собственно в творчестве И. Ф. Анненского, с одной стороны, действительно предвосхищается тот статус субъекта, который полностью проявится у О. Мандельштама и А. Ахматовой («И снова скальд чужую песню сложит И, как свою, ее произнесет»). Но лишь предвосхищается, на самом деле его поэзия – это действительно уникальная «драма диалогизма», переживание той зыбкой грани, на которой оказывается изолированное человеческое: с одной стороны –

ущербность подобного существования, с другой стороны – ощущение любого перехода как выхода в небытие.

Вот эта проблема серебряного века и отрефлектирована: проблема в том, что ощущение частичности, разорванности, даже ущербности «я» связано с трудностью нахождения чего-то вне этого «я» находящегося и столь же ценного. Дело даже не в том, что часть стремится выдать себя за целое, а в том, что нарушилось равновесие, центр тяжести резко сместился в сторону личности. В данной ситуации она, естественно, увидела собственную внутреннюю недостаточность – но с той же неизбежностью и недостаточность налич-

ной реальности. Потому, кстати, и актуализируются нетрадиционные религии: внеличностный опоры все равно нужны, но чем дальше от наличной жизненной реальности, тем лучше. И именно из-за чувства этой ущербности, невозможности полного отражения макрокосмоса в микрокосмосе, возникают декларации сверхчеловека, космичности «я» и т.д., как бы в заполнение образовавшегося в культуре разрыва. Но в том-то и дело, что этот разрыв словами заполнен быть не может, он зияет по-прежнему, вызывая все новые декларации, или кто-нибудь бросает в него свою жизнь, создавая из разорванности душевных состояний жизненнотворческое единство.

Список литературы:

1. Бройтман С. Н. Историческая поэтика. Учебное пособие / С. Н. Бройтман. – М.: РГГУ, 2001. – 320 с.
2. Поэтика : словарь актуальных терминов и понятий / [гл. науч. ред. Н. Д. Тмарченко]. – М.: Издательство Кулагиной; Intrada, 2008. – 358 с
3. Теория литературы: Учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений: В 2 т. / Под ред. Н. Д. Тмарченко. – Т. 2: Бройтман С. Н. Историческая поэтика. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 368 с.
4. Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности / М. М. Бахтин // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / Сост. С. Г. Бочаров; текст подгот. Г. С. Бернштейн и Л. В. Дерюгина; примеч. С. С. Аверинцева и С. Г. Бочарова. 2-е издание. – М.: Искусство, 1979. – 445 с.
5. Гинзбург Л. Я. О лирике / Л. Я. Гинзбург. Изд. 2-е, дополненное. – Л.: Советский писатель, 1974. – 320 с.
6. Лотман Ю. М., Минц З. Г. Предшественники модернизма в русской поэзии: В. Соловьев и И. Анненский / Ю. М. Лотман, З. Г. Минц // Статьи о русской и советской поэзии. Таллинн, "Ээсти Раамат", 1989. С. 21-41.
7. Кейс, Верхейл. Трагизм в лирике Анненского / Верхейл Кейс. // Иннокентий Анненский и русская культура XX века. – СПб., 1996. – С. 31–43.
8. Корецкая И. В. Иннокентий Анненский / И. В. Корецкая // Русская литература рубежа веков (1890-е н. 1920-х гг.). В 2-х т. – Т. 2. – М.: ИМЛИ РАН, 2001. – С. 63–88.
9. Кихней Л. Г., Ткачева Н. Н. Иннокентий Анненский: Вещество существования и образ переживания / Л. Г. Кихней, Н. Н. Ткачева. – М.: Диалог – МГУ, 1999. – 123 с.
10. Колобаева И. А. Ирония в лирике И. Анненского / И. А. Колобаева // Филологические науки. – Л., 1977, № 6. – С. 21–29.
11. Ронен О. "Я" и "не-я" в поэтическом мире Анненского / О. Ронен // Иннокентий Федорович Анненский. Материалы и исследования. 1855 – 1909. Материалы научно-литературных чтений. – М.: Литературный институт им. А. М. Горького, 2009. – С. 32–38.
12. Налегач Н. В., И. Анненский и русская поэзия XX века / Н. В. Налегач. – Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. – Кемерово, 2013. – 41 с.
13. Мусатов В. В. «Тихие песни» Иннокентия Анненского / В. В. Мусатов // Известия РАН. Серия литературы и языка. – Т. 51, № 6, 1992. – С. 14–24.
14. Пирошенко С. Ю. Поэтика Иннокентия Анненского как выражение экзистенциального мировосприятия / С. Ю. Пирошенко. – Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Каменец-Подольский, 2005. – 202 с.
15. Анненский И. Ф. Книги отражений / И. Ф. Анненский. Серия «Литературные памятники». – М.: Наука, 1979. – 678 с.

**СВОЄРІДНІСТЬ СУБ'ЄКТНОГО НЕОСИНКРЕТИЗМУ
В ЛІРИЦІ І. Ф. АННЕНСЬКОГО**

У даній статті з'ясовано специфіку суб'єктного неосінкретизма в ліриці І. Ф. Анненського. На основі аналізу статусу суб'єкта в ряді творів поета виявлено споглядальний скепсис, поет має сумніви і в можливості спорідненості зі світом, і в реальності впізнання. Робиться висновок про те, що в поезії І. Ф. Анненського переживається проблематичність універсального посередництва: пластика з'єднання, сполучення обертається розвтіленням, втратою своєї «індивідуальної єдиності» (М. М. Бахтін).

Ключові слова: суб'єкт, суб'єктна організація, буття, особистісність.

**THE PECULIARITY OF THE SUBJECT NEOSYNCRETISM
IN I. F. ANNENSKY'S LYRIC POETRY**

The article shows the specific character of the subject neosyncretism in I. F. Annensky's lyrics. Based on the analysis of the subject status in a number of the poet's works, contemplative skepticism is revealed; the poet doubts both the possibility of kinship with the world and the reality of recognition. It is concluded, that I. F. Annensky's poetry manifests the uncertainty of the universal mediation: the mobility of connection and conjunction turns into disintegration, the loss of its "individual uniqueness" (M. M. Bakhtin).

Key words: subject, subject organization, being, personhood.